



Каринэ Гаспарян родилась 29 июня 1965 г. в г. Махачкала. С 1986 г. проживает в Миассе, окончила медицинское училище, работает по специальности. Дебютировала как поэт в 11 лет, написав школьное сочинение «Как я провел лето» на 10 страницах четырёхстопным ямбом. Первые публикации в 1976—1978 годах в газете «Комсомолец Дагестана». В 2013 г. в издательстве «Цицero» вышла книга стихов «Товарищ Фет».

Некоторое время Каринэ жила в Москве и Санкт-Петербурге, занималась там в литобъединениях, в Миассе много лет является членом ЛИТО «Ильменит». Публикуется в южноуральских газетах, сборниках и альманахах, а также в международном альманахе «Муза».

Лауреат XX и XXI Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества, литературного областного конкурса «Прекрасен наш союз». Победитель VI Областного фестиваля поэзии «Уральская лира 2013». В 2014 г. награждена дипломом и медалью Международной гильдии писателей за высокое художественное мастерство.

Каринэ не только увлекается поэзией, но и является автором самобытных прозаических произведений.

Каринэ Гаспарян

Армянские каникулы

*И если не надо идти с утра на работу,
Какого-нибудь пятого сентября в субботу
Пить из крошечной ни о чём чашечки
Горький армянский кофе
И думать, почему твоя фамилия
Не Свенсен,
Не Таубе,
И не Иоффе.
Прости, отец, я не дала твоей фамилии ходу.
Я приумножила мужчины своего род от роду.
Но в детях моих всё так на тебя похоже,
От тёмных бездонных глаз,
Тайного знания
До безмерной печали
И смуглой кожи.*

Сестра часто вспоминала о моём отце, и всегда в превосходной степени. Ей было десять лет, когда он появился в её жизни. Он сажал мою сестру на плечи, как только заходил в дом. Она держалась за его волосы, чтоб не упасть. Наверное, ему было больно, но он никогда не жаловался. А волосы были жёсткие, тёмные и вьющиеся, не такие, как у нас, — шептала сестра. У них — у бабушки, мамы, сестры — волосы были светлые, как у принцесс. А я в это время лежала в кроватке, только что рождённая. И вся моя судьба, как и цвет волос, была неведома, по крайней мере, мне. Папа никогда не приходил без гостинца, без маленькой какой-нибудь радости. По всем этим косвенным признакам получалось, что он был счастлив и любил нашу маму. Я вглядывалась в дымку ушедших лет, мне тоже хотелось что-нибудь вспомнить. Но родители расстались, когда мне было четыре года. И образ отца складывался, а вернее сказать, не складывался из разрозненных воспоминаний мамы, бабушки и сестры. Мама, раскуривая очередную сигарету, вглядывалась армянский полосатый палас. Она вспо-

минала, как отец привёз её из Москвы в Нагорный Карабах сразу после свадьбы. Дед Каро был самым уважаемым человеком в деревне — он был учителем. Он не осуждал открыто действий сына, только вздыхал чаще и долго вглядывался в очертания гор в дымке тумана по утрам перед тем, как идти в школу. Свекровь была более открыта в выражении чувств, но как это выражалось, мама не рассказывала. Молодой семье подарили настоящий армянский палас и поселили в пустующей части дома. Через три месяца мама сбежала домой, с паласом и мной, уютно разместившейся в её животе. Почему она не прижилась в патриархальном армянском доме, мне стало понятно позже, гораздо позже, когда я сама приехала в этот дом. Мама упоминала ещё несколько вещей, связанных с армянским периодом её жизни. Сминая окурков в пепельнице, она говорила, оценивая, глядя на мою тонкую талию и ключицы, торчащие в вырезе платья, как две лодочки: «Ты всё равно будешь такой же, как сёстры Карлена». Я уже наизусть знала их имена: Канира, Лаура, Наира. А имя четвёртой я всё силюсь вспомнить, но мне мешает эта прозрачная, непроходимая дымка лет.

Мужчины в Армении маленькие, худые и грустные. Арарат, их общая колыбель и святыня, недосягаем для них. Он на территории Турции, и нога их никогда не ступит на вожделенный камень у подножия. Никогда, одолев крутой склон, не сядут они, группой или в одиночестве, на дорогой сердцу камень. И не омоют слезой память свою по убитым, но не забытым жертвам Геноцида. Вот поэтому они и грустные, все, от мала до велика, — говорила мама.

Женщины же, напротив, чем толще, тем лучше. Значит, мужчина хорошо кормит мать своих детей.

Для моих четырёх тётей прорубали специальные проходы, так как в обычные двери они не входили. Участь повторить их судьбу меня не волновала в шестнадцать лет ни на грамм.

Правда, для первого класса мне сшили специальный сарафан, потому что ни одна юбка на мне не сходилась. И если бы по рядам не пронёсся шепоток, что это толстое чучелко из семьи друзей директора школы, я бы уже тогда поверила моей маме. Но в то первое сентября директор приветливо махнул мне с трибуны, и никто не посмел смяться надо мной. А в шестнадцать я стала тонка, но всё так же недалёковидна. Ещё мама часто с досадой упоминала книгу Абовяна «Раны Армении». Оказывается, папа назвал меня по имени главной героини этой книги. Привыкая угадывать другие смыслы, я поняла, что папа, во всём уступавший маме в силу огромной любви, здесь не уступил. Дочка должна была зваться Каринэ, и никак иначе.

Бабушка звала моего отца армяшкой и брезгливо рассматривала меня первые пятнадцать лет. Если бы я сжималась под её взглядом, я должна была бы исчезнуть, раствориться, растаять, унося все черты своего отца. И тёмные вьющиеся волосы, и вечную ноющую грусть в груди, и горбинку на носу. Но не пришло ещё время мне раствориться золотой пылью среди миров и светил. Тем более, он появился на нашем пороге в день моего шестнадцатилетия.

И всё в нём было родное и знакомое. Да, роста он был небольшого. Но какая-то мудрость в глазах заставляла и уважать его, и доверять ему. Волосы были уже не так удобны для поездки на плечах, но без единого намёка на седину. И приехал он с одной целью — увезти меня в Армению.

В день отъезда папа сжал крепко, но бережно мою ладонь, и мы пошли в ювелирный магазин. Моё присутствие, вообще-то, не требовалось. Папа поставил меня в тёмный прохладный угол, за резной колонной. Сам он долго, как мне казалось, целую вечность, стоял у пузатой стеклянной витрины. Потом шутил с продавщицами, что-то долго рассматривал, не спеша расплачивался. А потом на моей левой руке заблестели золотые часы. Стрелки исправно отмеряли мою новую счастливую жизнь. Наш поезд уходил вечером. Голова кружилась от предвкушения дороги, новых встреч, новых городов и папиной любви.

Моя нижняя полка в плацкартном вагоне была услужливо застелена. От избытка впечатлений я готова была уснуть на ходу. А папа сидел, подперев большую, красивую голову двумя руками. И всё смотрел и смотрел на меня. Во взгляде его появлялось что-то хищное, как только мимо нашего купе проходил молодой человек. И он, сквозь полузабытый сна, казался мне грозным ястребом, закрывающим размахистыми крыльями своего птенца от всех особей мужского пола. В вагоне было жарко, и я, конечно, спала не укрываясь. А папа всю ночь морщил лоб, шептал «ахчик» и укрывал мои ноги. Вдруг кто-нибудь, в полумраке спяще-

го вагона, увидел бы ноги своевольной армянской девчонки — этого папа допустить не мог! Утром он задремал, а я пошла умываться. Часы я сняла в первый раз с тех пор, как отец надел их мне в магазине. Я положила их на полочку в туалете и, ополоснув лицо, выскользнула наружу. В своём купе я хватилась пропажи минут через десять. Папа, — прошептала я, побледнев и испугавшись за него больше, чем за себя. Полочка в туалете была пуста и уже запачкана чьим-то зубным порошком. Вглядываясь куда-то вдаль, папа скорбно произнёс: «Ахчик, ахчик».

Дома его ждала тяжелобольная жена и пять дочерей. Их всех он содержал на свою зарплату. И надо же было мне, старшей его дочери, уродиться такой растяпой.

Эта вина, первая за это лето, упала в коробочку моих грехов, на самое дно. Коробочка эта наполнялась очень быстро. Но всю её, полную до краёв, простил мне мой отец. Знаю, что простил, хотя мы никогда не говорили об этом.

Утром мы приехали в Баку, где жили четыре моих тёти — Канира, Лаура, Наира и четвёртая, имя которой открой мне, Господи. Папа вёз меня как драгоценность, как свою величайшую гордость. И приём был нам везде оказан королевский. Меня изумляло, как всё до мельчайших деталей повторялось в каждом доме, при каждой встрече. Они, конечно, не сговаривались, просто сила традиций, веками установленных в армянской семье, соблюдалась по мере сил, по мере сохранения на уровне крови, или, как сейчас говорят, на уровне генной памяти.

Мы заходили в дом, и бесконечный хоровод лиц окружал меня, крутил, вертел, рассматривал. Все цокали языками, восклицали что-то на армянском языке. Мелькало слово «ахчик». Я садилась за стол, который был уже накрыт, и придумывала синонимы к непонятному слову. Проказница, виновница, стрекоза, чертовка, лентяйка, не наша — вот их неполный список. Улыбались армянские родственники редко. Часто смотрели вдаль, как и папа, хмурили брови. Жалея себя, я пыталась найти другое объяснение этому слову. Старшая, красивая, худая, умная, отличница, в конце концов. Я ведь и в самом деле была круглой отличницей.

Застолье начиналось всегда с чая. Крепкий душистый чай, янтарный мёд, солёный сыр с капельками рассола, фрукты и лаваш. Лаваш был тонкой и белой лепёшкой из муки. Такой тонкой и белой, что у меня чесались руки, так мне хотелось на нём что-нибудь написать. Но он был предназначен не для этого. Его неспешно отрывали, отправляли в рот и говорили, говорили, говорили. Женщины, девочки, девушки подносили кушанья. За столом мы сидели два-три часа. И армянская речь всё лилась и лилась, завораживая меня незнакомой, но хорошо слышной внимательному уху музыкой. На столе, сменяя друг друга, появлялась севанская форель, хаш, матнакаш, лобио. То, что форель

севанская, подчёркивалось с особенной гордостью.

Севан был для всех армян святыней, не меньшей, чем Арарат, Эчмиадзин. Это всё рассказывал мне папа, гуляя со мной по уютным бакинским улицам. Я думала: не слишком ли много святынь у нас, у армян. И ещё я ловила себя на мысли, что армяне печалятся и грустят за себя, но ещё и за весь мир, на всякий случай. Как будто хотят отстрадать за все другие народы. Смеющегося армянского мужчину я встретила один раз в жизни. Но о нём придёт черёд рассказать позже.

Бакинские армяне составляли свой клан, и все были связаны родственными отношениями, географией и вселенской печалью в глазах. У каждого из детей Каро и Гоарик была в жизни своя роль. Канира — старшая сестра, хранительница традиций, остов семьи, надёжность. Лаура — танцовщица, певунья, собирательница сказок и преданий. Наира — отменная кулинарка, хозяйка, тихая обитель добра и покоя. Облик четвёртой стёрся из памяти вместе с именем. Но именно в её доме мы начали готовиться к основной цели своего путешествия — поездке в Нагорный Карабах, к папиной маме.

Было куплено много красивых платков, браслетов, серёг, кругов сыра и десять (!) килограммов морских камушков. Так надо, — сказал папа. Я не видела потом на бабушке ни одного украшения — она их не носила. Было трудно представить её плечи, украшенные ярким платком. Да и морских камушков на столе я не видела ни разу. Я потом узнала, куда они подевались — эти яркие городские камушки, да ещё и сладкие.

Приехали мы под вечер. Деревня раскинулась между гор, как большая кошка, распластав лапы, раскинувшись всеми своими дворами.

Горы были какие-то особенные. Это были не пики, уходящие под облака, не обрывы, не кряжи, не скалы. Это были, сколько хватало глаз, пологие склоны и подъёмы, почти сливающиеся с небом, с реками, с домами. Они все были устремлены не ввысь, а вдаль, за горизонт.

Бабушкин дом был первым на въезде в деревню. Бабушка Гоарик была высокой крупной женщиной с волевым, хотя и уставшим лицом. Взгляд её был глубоким и острым не по годам. Видно было, что её подводит только внешняя оболочка — изработанное тело. Нахмуренный лоб и вечное «ахчик» меня уже не удивляли.

Проснулась я, кажется, рано. Но ни папы, ни бабушки рядом не было. На столе стояла кастрюля с куриным супом. А рядом, прикрытые белой ситцевой тряпочкой, горкой высились лепёшки, тёплые, как солнце над нами. Я поела и побежала за ворота. Если бы я представляла рай, он был бы таким, каким я увидела в это утро окрестности. Присутствие людей никак не испортило окружающую природу. Горные ручейки, высокое небо и дома, зелёно-коричневые, как и горы, составляли одно целое, неразделимое и неподдельно прекрасное. Жителей

совсем не было видно. День был в зените, обычный трудный и долгий день.

Камушки сыпались из-под ног, иногда падали прямо передо мной. Чем дальше я шла, тем чаще они попадали мне то в плечо, то в шею, то в спину. А потом я увидела то там, то сям озорные чёрные глаза, косы, руки и убегающие ноги. Дождь из камушков сыпал всё чаще, всё больнее. Для местных детей я была чужаком, яркой нездешней птичкой.

Домой я летела со всех ног. Влетела во двор и сразу попала в объятия молодого человека, поразительно похожего на папу. Он смеялся, вытирая мне слёзы. Смеялся, грозя кулаком окрестным горам, смеялся, оглядывая меня с головы до ног. Это был младший из детей Гоарик, мой дядя Кармен. Стоило мне один раз пройтись с ним по главной улице, и люди начали приветливо здороваться со мной. И камушков в меня больше не сыпалось, ни одного, на мою голову. Мы гуляли с Карменом и говорили, говорили, говорили. В первый день я спросила: что такое «ахчик», это что-то обидное? А он, смеясь, закружил меня по огороду, и сказал: «Это — девочка! Это ты — наша дорогая девочка, это ты». Ещё он сказал, что невежливо молчать в ответ на приветствие. И я, наученная Карменом, степенно раскланивалась и отвечала: «Барев дзес, барев дзес». Он очень много рассказывал мне об истории армянского народа, об истории нашей семьи. Кармен был мне и старшим братом, и другом, и учителем. Мы облазили все окрестные горы, заучивая наизусть стихи Егише Чаренца, Сиаманто, Паруйра Севака, Ованеса Туманяна, Аветика Исаакяна. Оказалось, что дед Каро был первым учителем в Карабахе. Был он очень добрым и светлым человеком. И, как исключение из правил, очень высоким. Этот факт был мне в утешение: значит, не я одна — исключение из правил в этой большой семье. Живя то у моря, то в Москве, то в Ленинграде, то на Урале, я часто ощущала себя перекаати-полем, сорной травой без роду и племени. На вопросы: «Кто твои родители?» и «Где ты родилась?» я открывала рот и... тут же закрывала. Коротко ответить я не могла, а долгие рассказы — кому они интересны?

От этих скелетов в шкафу
В груди расправляются крылья.
И не очевидное, был ли я,
И снос во вторую графу.
А в лёгких — вишнёвый компот,
И вдох посему невозможен,
Но сбивчиво путь мой изложен,
И воздуха требует рот.
О, вы, чей невольный покой,
Из памяти вызвав наружу,
Я больше уже не нарушу,
Махните оттуда рукой.
Актриса немого кино,
И ты — управляющий банком,
И ты — дорогая крестьянка,
Откройте скорее окно.

Я в вашем, нет, в нашем шкафу
 Фигурой почти неизвестной
 Займу своё скромное место,
 Опять пропуская графу.

Кармен рассказал мне, что Гоарик — это солнышко. И я взглянула по-новому на бабушку. Солнце вставала раньше всех и хлопотала, хлопотала, хлопотала. Огромный огород, большой дом, несметные полчища кур, гусей, уток, гости — на всё у неё хватало сил. Раз в неделю бабушка ставила тесто. Во дворе стоял большой круг, на дне которого разжигался огонь. Очень ловко она раскатывала на столе, в огороде, лепёшки. Поддевала их ухватом и лепила на внутренние стенки круга. Через минут десять этим же ухватом собирала их со стенок. Хранились они на холодной большой веранде и всю неделю были как будто только что из круга. Круга её жизни, круга судьбы, круга вдовства и старости. И вечного круга любви.

Каждое утро на низеньком каменном заборе стояли несколько крынок с мацони, чашек с тутовником, корзинок с яйцами. Кармен говорил, что это жители в память о первом учителе идут через всю деревню и несут свои нехитрые дары.

Однажды Кармен с таинственным видом надел костюм и куда-то ушёл. Я съела несколько ягод шелковицы, решая, какая слаще — чёрная или белая. Под ногами кружилась большая белая курица. Я топнула ногой — она не уходила. Погнавшись за ней, я не заметила, что дверь туалета открыта. Курица прыгнула в тёмное прохладное нутро и... исчезла в чёрной дыре навсегда. Прибежали папа и бабушка, Папа свесился в яму, но тщетно. Бабушка посмотрела вдаль и тихо сказала: «Ахчик, ахчик». Но мне уже не было страшно, только немного стыдно.

А Кармен, оказывается, ходил помогать другу в предсвадебных хлопотах. И назавтра мы все: бабушка, папа, Кармен и я пошли на свадьбу, вместе со всей деревней. Горы танцевали и пели, молодёжь веселилась, природа ликовала. Люди постарше сидели за длинными столами. Девушки, все до единой, были стройны и грациозны. Глаза все они держали долу и — все имели общие черты со мной. Длинные чёрные волосы, смуглая кожа, пушистые ресницы, отбрасывающие тень до середины щёк, нос с горбинкой — вот наш групповой портрет. А парни все невысокие, стройные — настоящие мужчины держались вместе, но взгляды бросали на девушек жаркие и быстрые, как молнии. А красивее всех был мой дядя, Кармен. Завидный жених, он иногда смотрел вдаль так же долго и пристально, как папа и бабушка. Он часто говорил мне: «Посмотри, как прекрасна наша Армения. Я отдал бы за неё жизнь, не задумываясь». Так он и сделал, когда началась война в Карабахе. Не поплясал на своей свадьбе, не понянчил своих детей, не вошёл больше в свой сад на окраине деревни.

Мы уезжали к вечеру. Не знаю как, но вся деревня, узнав об этом, вышла к дому Гоарик проводить

нас. Бабушка вынесла мешок с морскими камушками и раздавала их детям, каждому по горсти. А потом прижала меня к себе и долго не отпускала. Я вылетела из её объятий и, расправив крылья, обдуваемые тёплым ветром, улетела.

Где бы ни была я, знаю, что в доме этом горит свет, на столе лежат горкой тёплые лепёшки. Земля в саду вся усыпана шелковицей, белой и чёрной. А бабушка Гоарик отошла, но скоро вернётся.

Зима, она всё-таки лучше армян.
 Она не заканчивается, как мы, на -ян.
 Она мостит дороги
 И не ждёт случайных даров.
 Шестого января
 В путь опять отправляет волхвов.
 Один из них — наш
 Прапрапрапрадед Гаспар.
 Он говорит с нами,
 А изо рта клубится пар.

2012—2015 гг.

День знаний

Пронзительная тишина спален, коридоров и классов исчезла в один миг. Это с каникул возвращалась в интернат первая из девочек. В спальне на четвёртом этаже за закрытой дверью я слышала: вот сторож прошёл по расписным плиткам холла. Вот он открывает тяжёлый засов. Вот первая осенняя гостя переступает порог и поднимается по широкой лестнице. Я только не вижу — по правой или по левой. Она идёт медленно, как будто несёт в ладонях лето и боится расплескать его: тёплое, ласковое, длинное и... прошедшее. Я слышу хлопанье дверей на втором этаже. Значит, пятиклашка. Небрежно брошенные у кровати вещи. И вот она уже бежит ко мне. Мы обнимаемся. Я сейчас не из старшего класса, я та, что никуда не уезжала. И всё же двери уже невозможно закрыть, и старый наш сторож открывает их настезь солнцу и улыбкам, радости встреч и тихой боли где-то под ложечкой. «Нескоро домой, нескоро», — поёт себе тонкий молоточек. И воспоминания о родной сакле, о горах, о братьях и сёстрах, о маминых руках, об очаге и кувшине возле него врываются в каждый уголок, как и запах свежей сдобы. Это наши повара встречают девочек и говорят им: «Не грустите. Здесь тоже ваш дом, ваш приют. А там, в горах, вы оставили своё сердце и вернётесь за ним через год». Двери в нашу спальню, всегда чинно закрытые, распахнулись, как два паруса, и впустили моих дорогих одноклассниц. Земфира, Зейнаб, Калина и ещё 36 девочек. А со мною — сорок. Все с косами, кроме меня. Все — повзрослевшие, красивые — и такие родные. Я встречала их у входа, потому что кровать моя была крайней из сорока. Они заходили в спальню, кто вприпрыжку, кто — степенно расправив плечи. Мы обнимались, кружились по проходу,

оглядывали друг друга с гордостью. Как выросли, как расцвели. Но было заметно, что каждая смущалась и чувствовала неловкость. Все они были наполнены до самых краешков души воспоминаниями о доме. Я же была опустошена до дна. Не было у меня этих летних воспоминаний. Лето для меня слилось в один долгий и тягучий день. Тишина, «здравствуйте» — сонному сторожу. Поход в умывальню на другом конце двора. Завтрак в нашей огромной столовой для меня одной. В то лето я подолгу сидела на деревьях с книжечкой. Здесь летали птицы и было не совсем одиноко. Чтобы не смущать их, я бежала вниз, к своим младшим подругам. А те, как птички, чирикали мне весь день о доме, о доме, о доме. К ужину я вернулась в спальню. На моём покрывале лежали тридцать девять чуреков, испечённых маминими руками в очаге, и тридцать девять кусков сыра. Каждой из девочек дали в дорогу это нехитрое угощение. Аварский сыр — белая, как снег на вершинах гор, брынза; лезгинский сыр — желтоватый, как луна над родной саклей; даргинский — нежный, со слезинкой рассола на изломе; кумыкский — твёрдый, как рога у барашка. Они все, мои дорогие девочки, хотели, чтоб у меня были воспоминания. Каждая разбирала свои вещи и украдкой следила за мной. А я сидела на краешке кровати и смеялась и плакала одновременно. Они налетели стайкой, утёрли мне слёзы, убрали свои дары мне в тумбочку, одёрнули моё покрывало и потащили на ужин. Вечером я, как и все, долго ворочалась в постели. А утром, 1 сентября, в наш последний школьный День знаний, мы первые пошли в класс, и младшие расступались, давая нам дорогу.

Наргиз

Под южным солнцем девочки созревают быстро. В то время, когда из угловатых подростков превращаются в девушек, — все они, даже дурнушки, таинственны и милы. Мужчине лучше не заглядывать в их глаза, а то он может пропасть, упасть и не подняться.

Осознание того, что ты — сосуд, который должен наполниться, будоражило каждую клеточку юных особ. Но Наргиз отличалась от всех. Ресницы её чаще, чем у других, опускались на бледные щёки. На переменах никогда, как одноклассницы, не правляла она толстую косу, спускающуюся до края платья. Не смеялась, как мы, просто так — без причины, вообще редко разговаривала с нами. Но это было естественно, не нарочито и воспринималось всеми не как высокомерие, а как что-то непонятное, но имеющее право на существование. Она как будто жила в мире, куда нам всем не было хода.

В один из апрельских, радостных для всего весеннего мира, но не для меня дней я шла в школу, на УПК. Бабушка строго следовала рекомендациям из журнала «Здоровье». Голову поэтому я мыла раз в десять дней. Да ещё это ужасное каре. Но я ведь

не актриса немного кино, как бабушка. Вышла я за два часа до начала занятий по кулинарии. Зачем они нам — неизвестно, ведь девочки на юге должны в семь лет уметь приготовить и накрыть стол, если мамы нет дома.

Я уже почти дошла до школы, когда увидела Наргиз в глубине двора. Увидела и молча вошла к ней. Южный двор у моря, мне ли не помнить тебя... Бульжанный пол, первый и второй этаж, обнесённый балконом по кругу. На всех дверях колышутся марли, из всех дверей слышится жизнь и несутся запахи. Баклажанов и сациви, абрикосового варенья и долмы, кинзы и жареной барашки. В центре двора — колонка. Там, за колышущимися чуть слышно марлями, рождались, росли, любили, делали детей и умирали. Но всё очень тихо, у каждого на свой лад. Наргиз стояла посреди двора в домашнем сарафане, но такая же отстранённая, как и в школе.

— Что так рано? — спросила она, шурясь от солнца, ещё не обжигающего, ещё не полуденного.

— Вообще-то я не в школу — волосы грязные, — ответила я, потупившись.

И всё. Время как-то развернулось и покатило вспять с этой минуты. Наргиз неспешно вынесла на середину двора табурет. Поставила таз. А потом вынесла кувшин. Табурет был резной, старинный. Таз медный, с резьбой. А кувшин, кувшин выплыл как лебедь. Тонкая, изящная подставка. Чуть овальное, как сложенные крылья, основание. Шея тонкая и длинная, переходящая в носик. И всё это из серебра с чернью работы кубачинских мастеров.

Молча кивнула мне одноклассница. Я положила портфель и наклонила голову над тазом. Кто-то шёл на работу, кто-то — с рынка. А Наргиз мыла мне голову, не торопясь и ни с кем не разговаривая.

В школу я пришла одной из последних. Вместо УПК нас собрали в актовом зале на репетицию весеннего смотра художественной самодеятельности. Белое московское пальто в клеточку, очки с диоптриями, колготки в резиночку, — но! Я видела восхищённые мальчишеские взгляды, я летала в этот день, как на крыльях. И! Я даже слышала разговор двух первых красавиц класса.

— Посмотри, Каринэ какая хорошенькая, — сказала Ленка Мажидова.

— Наверно, влюбилась, — отвечала Люба Кеммерлинг.

Время теперь текло не по прямой и вперёд, а как-то весёлым ручейком, то влево, то вправо.

Каждый четверг, притворно унылая, я выходила из дома за два часа до занятий и шла к Наргиз.

Руки её, маленькие, но решительные, то лили мне на волосы отвары душистых трав, то настой чёрного хлеба, то самодельный кефир.

В школу я шла раскрасневшаяся, весёлая и почти уверовавшая в то, что могу и, может быть, буду счастливой.

Однажды наш привычный ритуал был слегка нарушен. На пороге квартиры Наргиз показалась

совсем не похожая на неё женщина. Тень старости уже коснулась её красивого лица.

— Мама, я скоро закончу, — сказала дочь.

Я удостоилась еле заметного кивка.

Они были похожи в своём отчуждении от мира и не похожи, но очень естественны. На юге детей обязательно спросят при встрече — как дела, как оценки, как родители и вся дальняя и ближняя родня, накормят непременно. В тот миг, когда женщина стояла, прижавшись к косяку, и свет струился сквозь неё, а я выпрямила уставшую шею над тазом, чувство ирреальности происходящего полностью овладело мною. И Наргиз со своим кувшином, и мать её, и двор как будто плыли вместе со мной вне времени и пространства. Причём эти четверги никак не сблизили нас с Наргиз. Она молча кивала мне на таз, я наклоняла голову. Мы ни о чём никогда не говорили. В школе мы всё так же сторонились друг друга. Только фамилии наши соединялись в устах учителей, как лучших учениц. И четверговые купания соединяли нас, но очень тонкой нитью.

Однажды купание было прервано ещё раз. Красивый молодой мужчина зашёл во двор вслед за мной.

Наргиз застыла с кувшином, и вода тонкой блестящей змейкой заскользила между камней. Она кивнула ему, и некое подобие улыбки озарило её гордое и закрытое для всего мира лицо. Когда я вытирала голову, она, повернувшись в пол-оборота и глядя на свою квартиру, сказала: «Брат». В одно слово было вложено много разных чувств: любовь, гордость и... грусть. Грусть, которая лёгким незримым покрывалом окутывала всю жизнь этой загадочной семьи.

Не хватало ещё какой-то частицы, какого-то звена, кусочка пазла. Но и ему пришло время занять своё место.

В очередной четверг я ждала Наргиз во дворе. Лица всех обитателей большого двора были мне знакомы. Не знаю, что они обо мне думали, но здоровались все: кто — весело, кто — раскланиваясь в пояс, кто — ласково, кто — едва-едва.

И вдруг из угловой маленькой комнатки, запутавшись в марле, как вылупившаяся бабочка из кокона, вышел небритый старый мужчина. Таких мужчин на юге я не видела, поэтому застыла истуканом, даже не поздоровавшись. Не потому, что он был небрит, а мужчины у нас всегда тщательно следят за собой, не потому, что он был одет в обноски, а мужчины у нас всегда одеты с иголочки. Пусть эта бурка, но она чистая и заштопанная, рубашка старенькая, но выглаженная и накрахмаленная до хруста. Он был сломлен. Это было заметно по опущенным плечам, по неуверенному вопрошающему взгляду, по какому-то запаху нелюбви, резкому и отпугивающему. Наргиз вышла, и он засветился миллионами огоньков. Он даже потянулся к ней, но Наргиз отвернулась, и вода полилась мне на голову из чудесного кувшина быстрее, чем обычно. В следующий раз я не выдержала и нарушила молчание.

— Наргиз, кто тот мужчина? — спросила я.

— Отец, он давно не живёт с нами.

Мужчина на юге — царь, Бог, господин. Любимый мужчина, маленький и молодой, здоровый и большой, а старый — старый тем более. Это аксакал, остов семьи, то, на чём держится род, семья, народ.

— Сумасшедший, — процедила Наргиз сквозь зубы в следующий четверг, когда он появился на пороге.

С тех пор, каждый четверг он смотрел на нас с виноватой улыбкой. И провожал меня со двора ласковым, тихим взглядом.

Волосы мои были чисты, но на сердце легла тень чужой нелюбви.

Весна прошла, пробежала, и наступило долгое лето, с вечерами в приморском парке, с ночами, накрывающими нас чёрным шатром неба с крупными звёздами, в одно никогда не предсказанное мгновение.

Следующее первое сентября закружило нас новыми взглядами, криками, смехом. Наргиз села на своё место возле учительского стола. Я уселась на вторую парту второго ряда. Я уступила своё место, как бы говоря судьбе: «Возьми моё место первой ученицы, дай мне радости. Она мне нужна, как ветер, как воздух, как вода». С Наргиз мы даже не всегда здоровались. Голову я мыла совсем в других, самых невероятных местах. Да и во двор этот я больше не зашла ни разу. Он только снится мне весь в радужной дымке, и я просыпаюсь на утро счастливая и тринадцатилетняя. И снова вижу Наргиз и её отца.

Большой Змей

Что бы я ни делала той весной, я представляла себя индейцем. Оранжевая книга Фенимора Купера казалась большей реальностью, чем вся окружающая жизнь. Шум саванны будил по утрам, завтракала я наспех. Ветер прерий залетал в распахнутое окно и звал за собой. Из школы я не шла, а бежала — разгорячённая, не видя никого вокруг. А рядом то шёл, то ехал на коне мой друг — Чингачук Большой Змей. Никогда не было с ним скучно, иногда — грустно, иногда — весело, но не скучно. Мы с ним много гуляли и молча. Но и в этом молчании было для меня много смысла. Мне очень хотелось быть на него похожей не только внутренне, но и внешне. Из гибкого зелёного прута я согнула лук. Белая бельевая резинка оказалась сносной тетивой. Три прямые ветки, перевязанные ленточкой, превратились в колчан за спиной. Мой друг учил меня главному: быть стойкой и быть верной себе. А то, что лук и колчан были из веток, — разве это главное? С двух до трёх часов меня отпускали гулять в соседний сквер. Девочки среди гор редко гуляют одни. Так как жили мы в столице горной республики, чадру там, конечно, не носили. Но все части

тела были закрыты в любое время года. Брюки на девочке были полным светопреставлением.

А тут в два часа появлялась на свет Божий я, шуря от солнца прерий. На мне, девице двенадцати лет, с вполне оформившейся фигурой, были серые брюки клёш. В руках был лук, за спиной колчан. А рядом — верный друг. Что ещё нужно для счастья? В этот раз я говорила с ним об одиночестве. «У всех есть подруги, а у меня только книги да ты, разве это нормально?» — спрашивала я. Он отвечал, мы много спорили и смеялись. И вдруг я смертельно захотела в туалет. Извинилась и полетела со всех ног в зубную поликлинику. Там на первом этаже были две уютные кабинки, куда я часто залетала с улицы. Выходя, я всегда держалась за щёку, оправдываясь перед кем-то неведомым, на всякий случай. В кабинке было чисто, светло и просторно, как всегда. Ничто не предвещало беды, вот только защёлку я не закрыла и буквы на дверях спутала. Когда я натягивала непослушные гамашы, чьи-то большие волосатые руки начали их с меня стаскивать. Началась борьба. Кричать я бы не стала ни за что, я была по-другому воспитана. Мне всё хотелось спросить, зачем он это делает, но рот мой был замкнут ужасом и непониманием. Ни лица его, ни запаха в памяти не осталось — ничего, кроме огромных, ломающих меня рук. Я как-то вывернулась и побежала. Задыхаясь, почти падая, влетела я в дверь своей квартиры.

Пришла в себя я, когда бабушка вытирала кровь с моей шеи, рук и груди. Она не спросила ни о чём, это потрясло меня так же, как и всё, случившееся до этого. Я села делать уроки, потом легла спать. Дрожь не отпускала, как будто его руки всё ещё сжимали мою ногу выше коленки. И тут я вспомнила, что потеряла лук и стрелы! Слёзы наконец полились легко и свободно, и я уснула. Завтра было таким же солнечным, таким, да не таким. В два часа я вышла на улицу, нашла подходящий пруттик, и резинка была в кармане. Я закинула всё в кусты и решительно отправилась выгуливать саму себя. Я знала, кто помог мне вырваться, как знала и то, что уже не буду прежней. Всю оставшуюся весну и лето, и ещё много лет, с двух до трёх я гуляла одна, раздумывая над его словами. А вернулся он ко мне не скоро, ох как не скоро. В шестнадцать лет, чтобы снова спасти меня.

Мона Лиза

Продавать мороженое в парке — это лучшее, что со мною могло случиться. Но не случилось. Мечты со временем теряют остроту, краски и форму. Забываются, не сбывшись, улетают, как быстрые облака. А ты лежишь в высокой траве и провожаешь их глазами.

Зажав в ладошке двадцатикопеечную монету, я бежала в парк. Слева, под аркой, прямо у входа стоял киоск. Я не сразу шла за мороженым. Сначала останавливалась поодаль и долго рассматривала жизнь внутри, как будто пересыпала разноцветные стекляшки меж пальцев. Крышка большого бидона была услужливо открыта, когда бы я ни пришла. Стенки бидона искрились серебряным инеем, хоть на улице была адская жара. Вафельные стаканчики ровными рядами лежали на отдельном столике, вдетые друг в друга. Продащица мороженого была немолода, величава и всегда немножко улыбалась. Улыбалась как-то загадочно, как будто не нам, покупателям, а самой себе. Её улыбку я увидела в учебнике истории в седьмом классе. Под маленькой репродукцией была подпись «Мона Лиза». А имя автора зачеркнул хозяин учебника, изучавший историю годом раньше меня. Ритуал повторялся до мелочей и именно этим завораживал. Мы, покупатели, протягивали монеты с робкой молчаливой надеждой. Такие, как я, еле дотягивались, так как прилавок был довольно высоко. Деньги продавщица брала не сразу. Это была как бы самая незначительная часть действия. Она, улыбаясь, брала румяный стаканчик, лопаточкой ловко делала два-три взмаха. А потом стаканчик с аккуратной белой шапочкой оказывался на чаше весов — и тут же у тебя в руках. Он, как диковинная птичка, вылетал из бидона в стаканчик, на весы и к тебе. Сделав своё чудесное дело, она не спеша брала деньги, кидала их куда-то вниз и застывала. Смотрела поверх тебя и улыбалась. Иногда киоск был закрыт. Но тем радостнее была встреча на следующий день.

Мороженым я не торгую. Я только иногда улыбаюсь сама себе. Как Мона Лиза из учебника седьмого класса по истории.